

— В станице Расшеватской то было, — начал дед свой рассказ, — у урядника Безсолова приболела жинка, здоровая, дебелия казачка. Дня должно три повалялась в постели, а потом и заостенела. За дохтуром ехать далеко, а хвельнер поглядел, поглядел, да и говорит, что гроб треба делать. Ну, известное дело, лежит не дышит, глаза закрыты, не шелохнетса. Умерла и умерла. Муж в горе, родные плачут, детишки убиваются, а ей хоть что. Все слышит, а сказать ничего не может, рукой, аль ногой пошевелить не в силах. Обмыли, обрядили, положили на стол. Панахиду отпели. Народ чуть не со всей станицы собрался проститься с покойницей то, а на другой день отнесли в церковь, да и хоронить.

— Вот, наверно, перепужалась?! — воскликнул Федор Цыбуля.

— Известное дело перепужалась, да ничего поделать то нельзя. Игнат! — обратился вдруг Тимофей Никифорыч к Закрепе, — а ты бы хворосту подложил в костер, а то совсем затух, да и свежо стало.

С моря тянул прохладный ветерок, а следом напозал густой молочного цвета туман, одевая всю долину в росяную ризу.

— Так подождите, не рассказывайте! — измолился Закрепа и бегом бросился в кусты за сухим хворостом.

Через минуту он вернулся назад с охапкой дров и поспешно сел на свое место.

— Ну, вот с огоньком то и веселее, — заметил дед и неторопясь, ковыряя закорузлым пальцем трубку, стал продолжать свой рассказ.

— На кладбище опять отслужили панахиду, забрили крышку, опустили гроб в яму, да тем дело и кончилось. Летнее время, работа, где ж тут горевать, время не то.

— Так как же ее отрыть то догадались? — пытливно спросил Иван Панкратыч.

— А вот как... В станице жил мужик один, Митька Косой по прозвищу, вот он то и отрыл. Митька то этот самый ремеслом занимался спервоначалу, а потом бросил это дело и чем жил, Бог его знает, только слух ходил по станице, што не чист на руку, воровством вроде промышляет. А где, што и как доказать то никто и не мог, пока на ефтом деле не запопался. Ну вот, Митька то увидал што на покойнице кольцо обручальное, да крест золотой на груди, ну известное дело загорелось воровское сердце и в ту же ночь пошел со своими сынами на работу. Могилка свежая, долго ли откопать то... раз, два и готово. Одного сына на воротах оставил, как бы часовым што-ль, а с другим с колченогим за дело принялся. Открыли крышку и начали орудовать. Крест-то сняли, а кольцо никак не поддается. „Папаша, а ты ножом отрежь“, сын то ему дает наставление. Митька недолго думая и в самом деле вынул нож, оттянул руку, штоб сподручнее было и ну резать палец то, да и не заметил, как приподнял покойницу. А она в этот самый момент проснулась, от боли што-ль, аль срок ей пришел... Сын то первый увидал открытые глаза, как крикнет, да бежать, прямо к ограде. Перелез через забор, прыгнул, да зацепился кривой то ногой за доски и повис вниз головой... А Митька то как глянул, што покойница сидит в гробу и

смотрит на него, так замертво и упал... с испугу то. Покойница, известное дело, выскочила из могилы, да прямо в станицу. Прибегла домой, постучала в двери. Свекор, аль муж спросили, кто дескать тут. Я, гонорит, Василиса. Известное дело перепужались, не открывают. Она стучать давай, плакать, ну, а тогда и вонсе от страху то позабылись кто куда. Видит Василиса, што дело плохо, к попу побежала. Перебегла через площадь и прямо к батюшкиному дому. Поп то тоже спросил кто значит и по какому делу. Она ему и ахнула, што я де Василиса Безсолова с кладбища прибегла, што де живую похоронили по ошибке... Поп тоже перепужался. „Да воскреснет Бог и расточатся враги его“ начал читать. Василиса к дьякону — рядом тут же через дом — пошла. Опять значит стук в двери. Дьякон, как узнал, што покойница заявила, да как заорет што есть духу: „Отойди от меня сатана!“ Видит баба што дело плохо, все ее боятся, за настоящего покойника принимают, отправилась к дьячку в церковную сторожку.

— А дьячек то поди совсем умер от страха? — не выдержал Игнат.

— Нет! У дьячка то пирушка была. Гостей полна хата. И учителя, и хвельнер станичный и писарь, ну, известное дело, антелегенция — ни в Бога не верят, да и черта то не дуже боятся. Впустили Василису, распросили в чем дело, да всей компанией в правление. Вызвали атамана, попа, доложили все как следовало быть по обстоятельству и прямо на кладбище.

— А Митька должно утек? — спросил один из косарей.

— Никуда ни утек, так тут и лежал в беспамятстве. Привели его в чувствие, допросили што и как, ну известное дело, сознался. Позарился, говорит, на золото. Сына то колченогова сняли с забора, так и висел вниз головой, а другой то што на воротах стоял — убег, потом словили. Все повинились.

— Ну, а что было Митьке то за это?

— Да што было?... Можно сказать ничего. Скрыли все. Известное дело Безсоловы то рады радехоньки, опосля еще благодарили Митьку то за это. Так и жил в станице до самой революции, старший то сын комиссаром заделался. Василиса то Безсолова долго болела, ну, а опосля выходилась, да такая баба стала, што отдай все да мало! Хвельнер оправдался, говорит в ефтом деле и дохтура могут ошибиться! Как то он назвал по ученому то, уж и не запомню. Трагический сон што-ль? Ну, а по нашему то просто костенение.

Дед замолчал. Легкий ветерок подул с моря. В долине, окутанной молочным туманом, сделалось свежо и сыро. Костер догорал, изредка вздрагивая и выбрасывая язык пламени.

— Ну, хлопцы, спать пора! — сказал Иван Панкратыч, — засиделись сегодня, а с зарей то косить надоть.

Один за одним полезли в шалаш, делясь впечатлениями от дедова рассказа.

Над шалашом, погрузившемся тотчас же в крепкий, здоровый сон, прокричал филин, а далеко где то за рекой завывала волчица и на ее протяжный вой злым лаем откликнулись на селе турецкие собаки.

Санжа Балыков. (Прага).

Наши черти.

Хотя они порой и здорово мне досаждали, не раз заставляли дрожать от страха, но теперь вспоминаю их тепло, с удовольствием.

Ей Богу, оказывается, они были симпатичными чертиками; вот действительно: „что имеем, не жалеем, потерявши — плачем“.

Теперь черти пошли уже не те, нынешние куда хуже, похамистее, кровожаднее. А тех же, которые водились тогда, во дни моего детства, и которых было так много, что имена их не перечислить, есть чем добрым вспомнить.

Были: Чомпалик, Чѣткир, Алмус, Шулмус, Эрлек,

Яман. Последний прямо таки нравился мне. Он появлялся всегда в виде хорошенькой златокудрой девочки, готовой со мной поиграть, или в виде красивой, хорошо одетой молодаянки с приветливой улыбкой на губах; главное, зла он никому никогда не делал, а наоборот, те лица к коим привыкал Яман, могли при его помощи узнавать всякие тайны, причины болезней, предупредить беды и этим не дурно зарабатывали.

Одно только было не хорошо со стороны Ямана. Он ставил непременно условием, чтобы человек, спознавшийся с ним, не пил раку, не курил табак, не ел жирного мяса и не молился Богу.

Я чувствовал, что выполнить эти условия — пустяки и не прочь был снюхаться с Яманом, но он и не показывался мне.

Забавен и терпим был и Четкир: маленький, тонконогий, всегда голенький, с взлохмаченной черной головой, темнолицый, он любил сильно проказничать, не делая большого зла.

Бывало, приведешь на ночь в полный порядок свое костяное хозяйство, образцовое коннозаводство, а на утро смотришь — злодей Четкир все пораскидал: жеребцы выброшены из конюшни и перемешаны с быками, овцы с свиньями, баз разорен, табунщики лежат в собачьей конуре, а собаки под опрокинутой арбой, скаковой круг стерт, конюшни поразвалены; снова все нужно строить, распределять, располагать, хлопот, одним словом, на целый день.

А как бывало прошу Четкира каждый вечер — этого не делать, но он, видимо, не мог утерпеть, руки чесались.

Впрочем проказничал он только весной и летом, а зимою и осенью прятался, например, забивался в погреб, спускался в глубокий колодезь, и лежал там мирно до самых теплых дней потому, что как голый и босый, он не переносил морозов.

Чомпалик — безличный, безтелесный дух умерших, грешных людей, которые в смертный час с сожалением подумали о земных благах, о детях, о жене, о деньгах, скотах и пр.

Чомпалик вреда особенного людям не делал, но часто пугал путников объявляясь в необыкновенных видах.

Этого я видел. Однажды возвращались мы с отцом на бричке из ярмарки, бугая старого продавши. Была светлая, пресветлая ночь. Луна, звезды, „небесный шов“*) — все было как следует.

Добрые лошади дружно рысили по пыльной дороге.

Вдруг отец натянул возжи, остановил лошадей и молча уставился вперед. Я приподнялся и тоже взглянул. Прямо перед нашими лошадьми, поперек широкой дороги лежала длинная, черная пречерная человеческая тень. Нигде никого, кругом мертвая тишина, а перед нами тень!

Отец поднял голову на небо, я тоже — и там никого. Долго мы стояли перед этой тенью, не смея на нее наезжать, зная, что как только лошади наступят на тень, так сей-час же будут невидимыми путами снутаны по ногам.

Не знаю, что было бы дальше, только я догадался прочесть молитву против чомпаликов и тень внезапно исчезла.

Алмус и Шулмус эти были смелее, и вреднее.

Могли они и зло причинить, вообще с ними шутки были плохи. Алмус был мужчина; Шулмус — женщина. Ходили они всегда вместе, парой, редко в одиночку.

Они могли забраться ночью и в кибитку, особенно где не горела лампада перед божницей; в таких случаях они часто поедали на молоке каймак, забирая его длинными, грязными пальцами с черными ногтями, а выйдя, дразнили собак, пугали коров и т. д.

Этого мало, с одним нашим предком, силачем Морку вот что было:

Ехал однажды Морку по степи и встречает незнакомого молодца, который без долгих разговоров предлагает ему побороться.

— Я, говорит, долго искал этой встречи, так как слышал про вашу силу.

Предок наш этому не удивился и тут же согласился. Начали бороться.

Морку с первого же маха схватил своего противника, поднял на воздух и изо всей силы бахнул его головой об землю и... диву дался.

Обыкновенному человеку лежать бы на месте, а он отскочил от земли как мячик и лезет на голову Морка.

Морку другой раз ткнул его таким же манером, а тот, как будто сильнее и ловче стал.

Тут мой предок догадался с кем имеет дело и, улучив минутку, хватил его за волосы и выдернул пучек волос.

Незнакомец тут и взмолился. Он признался, кто он такой есть, стал хвалить Моркову силу и просил вернуть волосы.

А Морку, не будь дурак, и слышать, как будто не слышит, положил пучек в кисет с табаком, засунул за пазуху и поехал домой, а Алмус ни на шаг не отстает, словно собака верная за ним идет.

Пришли они этак до Морковой кибитки, хозяин вошел туда, а Алмус сел у порога и все скулит.

Морку ему и говорит:

— Слушай Алмус, я волос твоих сейчас не дам, а служи ты у меня работником верным и усердным, чтобы ни я, ни супруга моя ничего не делали, будешь хорошо работать, когда-нибудь получишь твои волосы — с этими словами положил он Алмусовы волосы в божницу.

И Алмус стал служить, да так хорошо, что лучше не сыскать. Что коров подоить, раку сварить — на все мастер.

Морку с женой так к нему привыкли, что часто забывали кто он такой.

Однажды поехали они в гости в другой хотон, а дома оставили своего работника и старшего ребенка, пяти-шестилетнюю дочь.

Вот тут-то дьявол и сказался.

Он подговорил девочку открыть божницу (сам же не может к святому месту подойти) и взять ему оттуда пучек его волос. Девочка исполнила все. Алмус получил свои волосы, схватил девочку, бросил ее в котел с кипящим молоком и скрылся.

Да... Алмусов и Шулмусов я боялся здорово.

А видел всего раз. Проснулся я однажды ночью от неистового лая собак и отвернув полсть, посмотрел кого это собаки рвут. Ночь была светлая. Окруженный сворой собак, с длиннейшей палкой в руке, которой он время от времени бил неосторожно приближавшихся собак, медленно удалялся в сторону „чертовой балки“ двухсаженного роста тонкий человек.

Я поспешил закрыть щель и подалеке забился под одеяло. С тех пор перестал выглядывать ночью на лай собак.

Так почти каждую ночь приходили Алмусы в хотон и, если какая баба забывала на дворе на ночь ширдык, то они непременно утаскивали его в свою „чертову балку“, чтобы, усевшись на нем, петь свою песню: „гальва салатн ташуда, тавулан судже джиргие“.

А однажды с нашим соседом вот какой случай был.

Приходит к ним в одну ночь незнакомый калмык и говорит хозяину: „ради доброго дела, отпустите со мной на часок вашу жену; ехал я с женой из гостей и вот, как раз против вашего хотона, недалеко, пришло время ей рожать. Я, как и всякий мужчина, в этом деле ничего не понимаю, а без помощи она не сможет разрешиться. Пожалуйста, говорит, не откажите в помощи“.

Хозяин, конечно, охотно отпустил свою жену, ибо в таком деле, кто же откажет, да и жена разохотилась идти выручать незнакомку в беде.

Незнакомец повел нашу соседку на запад от хотона и, действительно, привел ее к женщине, мучившейся в родовых потугах.

Соседка наша в таких делах была мастак, живо принялась за работу, провела благополучные роды, приняла ребенка как следует, помогла матери в чем надо и тут только заметила, что никакой подводы при них нет и что они сидят в самой „чертовой балке“.

— А где ваша подвода? — спросила она.

— Нет у нас подводы, мы здесь и живем, но вы не бойтесь, мы худа не сделаем, очень вам благодарны; вы сейчас идите, — говорит Алмус — но только не оглядывайтесь назад, а это вам награда, — и с этими словами протягивает он ей беленький узелок.

Она поняла с кем имеет дело, послушалась Алмуса и, благополучно вернувшись в свою кибитку, стала рассказывать мужу про все дело, а тот ей не верит, тогда она разворачивает узелок, а там больше сотни золотых монет.

С той поры и пошли они богатеть.

*) Млечный путь.

Самым страшным из всей нечистой братии того времени был Эрлек.

Все его боялись, даже самые отважные мужчины. Эрлик — посланец хана загробного мира. Он брал души умерших людей и отводил на загробный суд.

Кому Эрлек покажется, тому значит умирать скоро, ибо зря он никому не показывался. Потому его и боялись.

Теперь всех этих наших чертей не стало. Гром пу-

шек недавней войны, свисты металлических пуль, которых они боялись, разогнали, рассеяли их.

Появились новые черты, с новыми именами, с новыми специальностями.

Не люблю я их, и говорить о них не хочу, они гораздо хуже наших добрых старых чертей. Эти — настоящие кровососы, душегубы, и имена у них не хорошие: „чекист... коммунист... комиссар“...

Константин Поляков.
(Прага).

ПЕСНЯ БАЯНА.

Не надо нам летать и крыльев у нас нету,
С бандурою вдвоем пойдем бродить по свету.
Мы телом на земле, душой витаем в небе
И песней старою живем, не думая о хлебе...

Нам деньги не нужны, нас золото не манит,
Пусть нету ничего в разорванном кармане, —
Зато спокойны мы; не ведая кумиров,
С бандурою вдвоем идем кипящим миром.

Путь наш широкий, бесконечно долгий,
Года идут, но мы, — мы не умолкли.
И мы придем на Тихий Вольный Дон,
Чтобы отдать ему души последний стон.

Свободный край родной, Тебе отдали все:
Одни сложили жизнь за имя за Твое,
А мы Тебе бессмертие поем
И сердце вольное на Твой алтарь несем.

Сильнее много раз повторенной молитвы
И громче голоса кровавой битвы
Для нас два слова — Тихий Дон —
Ему несем души последний стон.

24-VI-1929.

Гнат Макуха.
(Югославия).

* * *

С. С. Савицькому.

Співай, мій голубе, співай!
Співай про рідную країну, —
Хоч в пісні бідную згадай
Ї нещасну сиротину.

Вона в неволі, мов в тюрмі,
В ярмо упряжена катми,
І, коли стогне у ярмі, —
Те ж забувається й синами.

Великий гріх... О, Боже, гріх
Ї забути сиротину, —
І Бог устане супроть тих,
Хто забува свою країну.

Нехай клянуть тебе кати,
Нехай над піснею сміються, —
Твої невільники брати
До тебе, брате, обізвуться.

Не гріх про рідний край співать
І волю братові шукати,
А гріх на волі нам мовчать,
Колодою мов би лежати.

Співай же, голубе, співай!
Співай про рідную країну, —
Хоч в піснях бідную згадай
Ї нещасну сиротину...

Вл. Куртин. (Югославия).

Семья Черкесовых.

На „Красной“ улице станицы А., рядом с другими домами, не отличаясь ничем от них, стоит дом Черкесовых. Типичный для последнего десятилетия казачий дом. Белый с голубым, точно жердела в цвету; с серой одинаковой крышей, на которой вертится на все стороны железный „кочет“; с рядом больших окон, за стеклами которых так скромно белеют кружева штор, а из под них глядящие на улицу простенькие „домашние“ цветы в зеленых горшечках.

Как и во всяком другом зажиточном казачьем доме, где есть молодежь доросшая до коня и шашки, одна комната — „кунацкая“, называемая иногда и „зала“. По стенам персидские ковры и паласы с развешанным по ним оружием; у стены оттоман, в углу седла, уздечки, сумы; на вешалке черкески, тесьма, подтесемки...

У Черкесовых всего этого больше, чем в других домах, хотя семья сравнительно и невелика: отец, три сына и дочь. Но это — настоящая казачья семья, семья старого кова. Отец перед сыновьями, сыновья перед отцом, а дочь перед братьями состязаются в выдержанности казачьего шика. Каждый имеет своего коня, даже Олюшка, 16 летняя джигит-девченка. Каждый имеет свое оружие. А все вместе — дедовское. Это семейная святыня. Неприкосновенность.

Все — джигиты. На станичных скачках, на лагерных сборах первые призы берет кто либо из братьев

Черкесовых. А отец, неизменно присутствовавший на всех состязаниях, горячит и без того бешеного жеребца, помахивает плетью и только хитро в бороду посмеивается.

— Если, мол, сыны таковы... я то еще не так могу...

И правда. Бывало не одна девка, поставив ведро и опершись на коромысло, посмотрит широко открытыми глазами на Лукьяныча, когда он гонит лошадей к Кубани на водопой. Летит под гору, точно по ровному мягкому полю... а сам стройный, тонко в талии перетянутый. Короткая, широкая борода снегом поблескивает, а в глазах огонь...

И задумается девушка. Посмотрит на пыль, что взметнулась ввысь за проскакавшим стариком красавцем, опустится на землю, наденет ведро на крючки коромысел и, равномерно покачиваясь, пойдет на гору, напевая вполголоса:

... Я ж молодая, неразумная девченка:
Полюбила да казаченка старого...

Лукьяныч всегда весел. И пошутить любил. В особенности с девками и молодыми казачками. Где он, там не скучно: визжат, хохочут... Даже молодым парням завидно.

— Вишь, как он их разогрел, старый чорт!
В кабаке Лукьяныч тоже не последний. Рюмку и